

Людмила ПОЛЯКОВА

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ*

ДНЕВНИК 1956–1961

1956 год

Октябрь, 19.

Я работаю на почте, на проспекте Мира и учусь в школе рабочей молодежи на Трубной. Люди, где вы – гордые и красивые? И чтобы было море, и небо, и чайки... Хочется крикнуть и взлететь, и лететь туда, где море сливается с небом.

22.

Шел дождь. У меня упали газеты. Целая сумка. Мне нужно было ходить по квартирам и пришлось выплачивать 200 рублей. На звонок из дверей появлялись откормленные бабы.

23.

Впервые за эту неделю смотрю на небо и улыбаюсь. Большой, сильный, умный, красивый – где же ты?

25.

Тема сочинения: «Как стоит прожить жизнь». Эх, отведу душу! В своем классе я, кажется, никому не нравлюсь. Чего я сейчас хочу? Учить ребят в далеком, далеком селе. Только вот не знаю, чему учить.

Ноябрь, 2.

Мое сочинение признали лучшим. Эй! Подходите ко мне, я расскажу вам, как стоит прожить жизнь! Трижды смеюсь: ведь там же одни сомнения...

26.

Давно не писала. Что я делаю? Ничего. Все думаю: «А как же нужно прожить жизнь?» Уже неделю не хожу в школу. Не хочу. Считается, что нужно жить интересами коллектива. Но как это? Где этот коллектив, интересами которого я бы жила? Это что? Служащие почтового отделелния, где я работаю? Я тоже должна



Л. Полякова

думать, сколько дадут на чай, за принесенную газету, телеграмму или бандероль? А наш класс в школе рабочей молодежи? Девчонки приходят накрашенные, разряженные. Я хожу в старом школьном платье и не могу быть среди них. Я понимаю, как они ко мне относятся. Хочу быть отшельником, но с тем условием, что моей пещерой будет библиотека. Вокруг

* В 2015 году в серии «Библиотека Малого театра» выйдет книга В. А. Максимовой о народной артистке России, наследнице «великих старух» Малого театра, Людмиле Поляковой. Вниманию читателей предлагается ее «Дневник 1956–1961» и диалог актрисы с автором книги.



сплетни, ругань. Жалкие, неужели вы не понимаете, что оскорбляете самих себя, человека в себе? Или на Марс полететь? Там хоть никого из этих тварей не встретишь. Самое страшное, что я все понимаю, но ничего не делаю, чтобы этого не было. Я не знаю, что делать.

29.

В странном состоянии я сейчас живу. Как будто вот-вот меня кто-нибудь поднимет, а потом бросит. И каждый раз падать будет все больше и больше. Уже почти не хочется смеяться. Отчего я такая большая и некрасивая?

1957 год

Январь, 13.

Столько тоски. Не выдержала и редела. Отчего – не знаю. Может, от тоски по настоящим людям, по себе настоящей? Гадкий утенок, распахни душу! Ведь рядом жизнь! Научись презирать ее мелочи, чтобы не они были главными. О Господи! Протяните же мне руки! Мне очень трудно. Я – одна.

23.

Презираю людей. Всех, кто рядом. Я их не понимаю. Хочется молчать и не быть. Противна самой себе.

Февраль, 12.

Жалею, что не уехала в Братск. Строила бы гидроэлектростанцию!..

Март, 1.

У меня другая работа, и настроение лучше, чем прежде. В Дзержинском райздравотделе работаю секретарем-машинисткой. Но глубоко, глубоко внутри – все как было. Как будто кто-то мне говорит: все ничтожно, мелко. А я не пойму: этот кто-то, невидимый, друг мне или враг? Всегда омрачает мне радость. Ну почему, почему мне бы не пожить, как все, как другие?

21.

Здорово редела. По физике поставили тройку. Сейчас смешно, но, видимо, это была последняя капля. Встала и ушла из класса. На улице в небе впервые видела такую луну – в ореоле, в озарении. В другой раз, я, как глупенькая, смеялась бы вместе с этой луной. А в эту ночь подняла голову и подумала: «Тебе, луна, все это знакомо. Уже тысячелетия люди поднимают к тебе головы и глаза, полные тоски, а ответа нет как нет».

Апрель, 13.

Ничего не изменилось. Это я про работу. Никакого смысла в ней нет. Но внешне я более сдержана.

16.

Странно, но А. до сих пор не забывается. Я придумала его, одела в сказочный плащ, и теперь не верю, что совсем ему не нравилась. Дело в том, что я не так держалась. В 9-м классе мы катались на коньках, и у него были сильные руки, и было так холодно и хорошо.

Май, 1.

Кончаем учиться. Я собираюсь в Иняз. Зачем? Не знаю. Надо бы уехать. Но где же место, ради которого я родилась?..

Июнь, 21.

Я, наверное, очень некрасивая. Иногда завидую девчонкам, которые идут по улицам с ребятами или сидят на скамейках в парках. Их ребята мне не нравятся, но они веселые. Я тоже хочу быть веселой. От обиды я думаю: «Ну и пусть, и я тоже сделаю прическу, одену что-нибудь потрясающее и позволю целовать себя. Работать буду секретарем-машинисткой, заработаю кучу денег, и привыкну к этому «богатству»...

22.

Ночь на 22 июня 1957 года. Ровно 16 лет тому назад такие же ребята, как я кончали школу и не знали, что ранним утром начнется война. Нашла Большую Медведицу и сразу стала спокойнее. Буду ли я счастлива? У ромашек длинные белые лепестки. На вечер в школу опять не пошла. Там никого нет, а я некрасивая и все время веду себя не так, как хочу. Стараюсь приспособиться ко всем, а потом уничтожаю, презираю себя.

Июль, 16

Занимаюсь французским. 25 июля первый экзамен. Не могу писать, не хочу. Съела 5 пачек мороженого. Никто не нравится. Я самовлюбленная дура. Зачем я иду в Иняз? Все же, наверное, я уеду. Одна. Так надо.

30.

«Маленькие жалкие людишки ходят по земле моей отчизны, Ходят и уныло ищут место, где б им было спрятаться от жизни.» Это – Горький, пьеса начала XX века... Не соответствует духу



нашего времени, но что делать, если я встречала только таких людей? А других, настоящих, знаю из книг. Я чувствую, что могу очень многое, но мешает апатия, вялость равнодушия. Экзамены в Иняз сдавать не стала. Нужно быть честной.

Ноябрь.

Павлов-Посад.

Я педагог-воспитатель в Лесной школе.

22.

Тонкий серп растущей луны и подвижный огонек спутника в черной пустоте. Холодные мертвые планеты и маленький комочек человеческого разума в бездне. Я чудная какая-то. Я даже ревную своих ребят к другим сотрудникам.

27.

Я живу одна в огромном доме. Так захотела, хотя иногда и страшно. Ночью замерзла. Утром носила дрова и уголь. Шла и уговаривала себя: ну еще шажок, вот умница – лошадка! С детишками хорошо. Кажется, им больше всего нравится, когда я рассказываю о планетах. Я сама страшно увлекаюсь. Заметила, что иногда рассказываю так, как будто бы там бывала. Счастлива ли я сейчас – не знаю. Принимаю все, как есть, без проклятых вопросов. Словно стала ребенком.

Декабрь, 6.

Ходила к реке. Сидела на берегу. Ветер гладил лицо и высушил слезы. Кажется, из леса выйдет кто-то, протянет руку и уведет далеко-далеко. Возвращалась полем. Увидела стог сена. Прижалась лицом, вспомнила лето. Запах травы нисколько не изменился. В комнате жуткий холод, хочется конфет. Небо какое-то странное: свинцовое, а местами – оранжевое, даже коричневое. На холме разноцветная церквушка, за ней – поле, река, лес, я одна, и ни живой души рядом. А какое право я имею ныть? Что я нашла в себе особенного?

10.

Быть или не быть? Нет, быть. Холод в комнате ужасный. Ноги промокли, а согреть их негде. Что-то болит. Здорово катались на лыжах, только лыжи плохо слушались. Эти пригорки трудно пройти. Сейчас я похожа на медведя. На мне 4 кофты, 2-е брюк. Надо поступить в институт.

Я чувствую, что могу быть учителем, принесу кому-то пользу. Не буду ныть. У меня есть цель.

17.

Каталась с большой горы и ни разу не упала. Возвращаясь, легла в снег. Теперь я знаю, что такое перина. А вы знаете, что такое снежная перина, или испугаетесь кашля и насморка? Влезла на ту сторону обрыва, лес на горе не очень высокий, зато гора – очень. Так что спускалась на попе, как мои ребята. И сама чувствовала себя смешной девчонкой. Лес, ты чародей. А теперь я сижу, смотрю, как горят дрова. Сижу и улыбаюсь.

19.

«Аппассионата». Хочется полететь в Космос или прыгнуть с парашютом из стратосферы. Болит голова от возбуждения. Если тебе будет трудно, не плачь, не хнычь, не унывай. Поклянись, что далеко-далеко ты будешь честно, упорно, много гордо, работать. Внутри тревожно и торжественно. По жизни мне нужен не только хлеб, но и розы. И свинья сыто живет, но разве это жизнь? Хочу ли я быть учителем? Боже, мысли исключают друг друга.

1958 год.

Январь.

Вечер самый рождественский. Снег хлопьями и тепло. Раскрыла рот и глотаю его как мороженое. Одна. Бегала по территории и дурчилась. Все смешит. Кончила школу. Уехала. Готовлюсь к институту. Так сказать, делаю из себя человека.

2.

Ходила в лес. Ели в снегу. Тихо. Изредка упадет пушистый комок – белка сбросит. Обратное шла полем. Видела первую вечернюю звезду 1958 года. Молила ее, поле, лес, реку. Будьте благосклонны ко мне, наделите меня прекрасным, что есть у вас.

8.

Новые ребята. Ужасно шумные. Катались на лыжах. Слушаются. Смешные. Приятно: мальчишки, я такая же, как вы, только гораздо больше ростом. Посадила под глазом фонарь. Больно! Всем надо объяснять, что это такое. Когда я сказала одной малышке: «Это, чтоб было красивее!» А она ответила: «Ну что вы? Вам совсем не идет!»



15.

Я не хочу быть учителем. Понимаю, что это разумное, доброе, вечное, и не хочу. Не хочу, чтобы все было разложено по полочкам: это, дети, – хорошо, а это, дети, – плохо. Учить по-другому не дадут. Хочу просто бродить по земле.

Февраль, 9.

Теперь мне 19 лет. Гуляла по Москве, вернулась. Боже, сколько восторга! Смешные глазенки отовсюду. Много катаюсь на лыжах, а потом я что-то сделала с ногой. Была такая страшная боль, что я думала не выдержу. Голоса не было, какой-то звериный крик. Чтобы сдержать его, я зарылась головой в снег и кусала его. А потом больница. Оказывается, я могу терпеть боль и при этом улыбаться. Хирург сказал: «Что-то я не пойму вас, вы ведь должны плакать!» Он ужасно мило ко мне относился. Опять почувствовала себя одинокой. Противная минута. Занялась марками. Вечером гуляли с ребятами, они мне показали свою снежную крепость. Неплохо придумано.

Март, 1.

Очень хмурый первый день весны. Мне хорошо с ребятами, и им хорошо со мной. Мне очень нравится жить. Это чертовски интересно, и я неплохой человек. Правда, пока еще неуверенно стоящий на ногах. Но это все поправимо. Отчего-то хочется быть элегантно одетой и в то же время бесшабашной, и бродить, бродить...

17.

Слушала «Демона» в филиале Большого театра. В фойе проходила мимо зеркала, людей почти не было. Какой-то полумрак, странное освещение. И вдруг вместо собственного отражения увидела лицо Аэлиты. Я шла по улицам через снег и думала: хочу одиночества полного где-то в горах или в океанах, или в космическом пространстве – родине абстрактного разума. Вся гордость мира была в моем одиночестве. Ничего не хотелось из того, что вокруг. Все понимаю, но мечусь. Глупый, смешной, гадкий утенок, тебе надо читать детские сказки.

28.

Занималась французским и историей.

Апрель, 2.

В овраге на солнцепеке проталины. Робкие смешные ручейки, у вербы пушистые барашки. Такие чудные барашки: внутри нежно-зеленые, потом серебристо-серые, а на кончике даже розовые. Перевела полстраницы французского текста. Наверное, я заболела от солнца, весны, талой воды. А, впрочем, притворяюсь: не хочется заниматься. Я бываю среди людей, о чем-то мы говорим, но я остаюсь одна, и никого нет. Никто не владеет моим умом. А лучше всего, когда небо бездонное и голубое. В такие минуты я чувствую себя прекрасной и верю, что я все могу. Чертовски интересно жить.

23.

Хочется уехать отсюда совсем и навсегда. Я не смогу быть учителем. Смешно: у меня ничего не раскладывается по полочкам. Теперь я точно знаю, что я могу что-то, но не знаю во имя чего это делать. Внутри холодно. Я похудела. Хочется печенья и хорошего компота. А лучше – крепко поревевть. Идут по жизни преждевременно остывшие люди, холодненькие, дрянненькие. И я, кажется, тоже остываю.

Май, 15.

Голова полна сомнений, но радостно. Люби, страдай, ненавижь, но обходи за два квартала солидных сытых людей. Я уеду к морю. Я не буду сдавать экзамены. Мне нечего делать в педагогическом. Я лишь увлеклась на мгновение, а теперь как будто бы только что родилась, и так звонко, чисто на душе. Я презираю эту девчонку, которая уехала из Москвы, в надежде жить подальше от взрослых людей. Она поглощала книги, конфеты и была уверена, что живет правильно. Фи, девчонка! Для чего это море, горы, эта земля, чтобы ты сидела, отгородившись книгами от мира? Эх ты, глупыш! Я уезжаю в Одессу! Есть мысль поступить на океанографический. Сейчас испытываю себя на смелость: сплю на чердаке. На дворе гром, молния, дождь, и у меня разболелась от волнения голова. Думаю об отъезде. Утром опять ливень, а днем жарко. Ходила через лес. Зимой он мне нравился больше, но сейчас весь раскис от сырости, пахнет прелыми листьями, а от реки тянет тиной и лягушками. Трудно дышать... Между елями – редкие



березки. Мыла ноги в воде, она совсем не ледяная. Припекает. На чердак перенесла почти все. Решила здесь обосноваться до отъезда. Боюсь, как бы его не открыли. Лишний повод для насмешек, и ведь опять ничего не поймут. Эй, вы! Я поселилась на чердаке, чтобы слышать ветер и грозу и видеть небо близко.

19.

День серенький, дождливый. Он как будто решил испытать меня. Обычно я скиаю от хмурого серого неба. Дождь принимался раз пять. Был страшный шум и много воды. Я побродила бы, но очень холодный ветер, а у меня нет теплой одежды. Буду лежать у себя на чердаке и заниматься пустяками. Разве я не имею права? Каждый пустяк имеет смысл. Бамбук погибает после цветения, наверное, как песня улы марсиан или как утренняя песня зырянки. Я подумала, что дождь косой, мелкий, противный... Он разозлился и полил сильнее. Ну, что ж, полезем под одеяло. Я дурачусь, и мне почему-то смешно. Вода запахом напоминает разрезанный арбуз. Была вода водой, побыла на чердаке и запахла арбузом. Все-таки смешно: дождь, это тебе назло. А под одеяло я все же залезла.

21.

Загораю на холме. Лес издали очень красив. Читаю «Испанский дневник» Кольцова. Нравится. Высоко-высоко в небе самолет. Он угадывается по белому хвосту. Завидую этому летчику. Я хотела бы быть рядом.

22.

Впервые купалась. Потрясающее ощущение. Плавала минут 15, потом горело тело. «Испанский дневник» волнует. Здорово, что человек бросает обжитые комнаты с музыкой, с цветами и едет в неизвестность. Это я о Кольцове. Кажется, я никому никогда не скажу об этом, но я хотела бы быть актрисой и писать.

29, Москва.

Грустно. Купила много тюльпанов и ландышей. Красивые, яркие и не пахнут, а маленькие, нежные – изумительно пахнут. «Идиот» потряс меня.

Июнь, 2.

В руках билет. Я сижу на вокзале, жду поезда. Еще три часа. Вот как я рано пришла. Очень тревожно. Интересно убежать из дома. Но

почему так тревожно? Принималась несколько раз читать и ничего не выходит. В голове все путается. Пореветь бы, но нет слез. Что-то больно сжимает сердце. Страшно за мечту. А вдруг снова ничего не выйдет? Дайте руку, Паустовский!

4, Брест.

Сижу с глупой улыбкой. Сердце хочет выскочить, внутри холодеет, а руки беспомощные. До Одессы еще шесть часов. Ночь почти не спала. Было душно, люди постоянно выходили. Когда поезд шел, я дремала. А когда останавливался, я просыпалась. Так что от ночи осталось впечатление, что мы все время стоим, а вокруг множество огней. Выходила в тамбур, окно было открыто, и я смотрела на облака. Они светились, хотя луны не было. Из топки с пламенем вырывался дым. Состояние как перед экзаменом. Совсем скоро море.

12, Одесса.

Аэровокзал. Самолет в Москву – обратно – улетает через три часа. Я ничего не поняла. Все это не взбудоражило и не перевернуло меня. В Одессе я находила какие-то знакомые по описаниям уголки и убеждала себя в том, что это самое мне и нужно. Но я принуждала, уговаривала себя. За несколько дней я получила впечатлений гораздо меньше, чем в мечтах перед отъездом. Морская вода была действительно соленая. Это сбилось и стало немножко смешно. К тому же меня не взяли на работу. Потому что у меня была московская, а не одесская прописка. В институте океанологии, куда я вздумала поступать, ко мне вообще отнеслись, как к не вполне нормальной, когда узнали, что я уехала из Москвы.

Москва.

Впечатления от полета неожиданные.

На несколько часов я возвратилась в детство. Самолет попадал в ямы, все замирало внутри, и я вспоминала, как мы прыгали с крыш сараев. Я уткнулась в стекло. А соседи тоже, наверное, думали, что я не вполне нормальная. Под нами клуби лись жемчужно розовые облака, и мне казалось, что, я, наконец, попала в свои грезы. Потом облака потемнели и стали почти синими. И мне привиделось, что я на дне моря и нас 13 дочерей у морского царя. А потом я оглохла, захотела спать и я уже ничего не

видела. Из Одессы я привезла много роз и сегодня целый час никак не могла их расставить. В доме уйма цветов, а мать так и не поняла, куда я исчезала на несколько дней, где была.

Июль, 24.

Я работаю на авиационном заводе. Скучно мне очень, хотя идет все так, как надо у хороших советских людей. Я когда-нибудь попытаюсь поступить в театральное. Больше никуда и никогда. Это твердо.

Июль, 26.

Б. появился словно из французского фильма. С великолепными манерами, которые мне страшно нравятся. Я позволила ему целовать себя. И не жалею, а то у меня было представление, что это необыкновенное дело. Б. считает меня кем-то вроде дурочки.

Сентябрь, 13.

Освободили от работы по собственному желанию за несоветское поведение, как мне объяснили. Я не стала спорить. По такому случаю с Б. выпили шампанского. Я, кажется, прощаюсь навсегда и с ним. Благодарю за сумбур, в котором я жила эти дни.

28.

Не работаю. Б. просит приехать к нему на Волгу. Хочет приручить меня. Я не приеду. И не могу объяснить почему. Просто он так неожиданно оказался на моем пути. А дальше будет «как у всех».

Он взрослый, ему трудно поверить в сказки Андерсена.

Октябрь.

Прихожу в кафе в Проезде Художественного театра. Беру кофе и долго сижу. Мы были здесь с Б., занимались французским.

16.

Дождь.

Липы голые.

Б. сказал вчера, что не может, чтобы я просто так исчезла из его жизни. Я не верю в себя, поэтому трудно поверить другому.

25.

И все-таки я не поехала к нему. Сейчас как будто и жалею. Было бы хорошо. Я хочу тепла, спрятаться и отдохнуть. Тревога и неудовлетворенность происходящим. Не пойму, что это. Потеряна гармония.



Ноябрь, 1.

Полумрак, тишина, все привычно и знакомо. Все на своих местах. Комната – не комната, а уголок таинственного замка. Сейчас появятся эльфы. Человек из мира взрослых сказал мне о любви. Помогите понять эту любовь, не похожую на сны. А лучше подарите белую розу. Пусть будет музыка до дрожи холодно и прекрасно. Придумываю эти старинные замшелые замки, города с веселым и гордым народом. Марцевич–Гамлет у Охлопкова заплакал от горя.

2.

Не знаю, чего хочу больше: увидеть весеннюю степь в цветах или сыграть, например, Гамлета. Мне кажется, то, чего я не видела, о чем еще не слышала, и есть главное, ради чего стоит жить. Когда я думаю о театре, я верю, что это для меня главное. Но я тут же начинаю мечтать о горах, степях, озерах, – и сразу приходит тоска. Говорю себе, что нужно сначала увидеть их, а потом все станет правильно и мудро. Я мечтаю, что где-то далеко, быть



может, в тайге, у синего-пресинего озера есть маленькая школа. Я вожу ребят, мы слушаем тайгу, и я рассказываю им, для чего нужно жить. И опять тоскливо, потому что этого не будет никогда. Я жалею обо всем, чем не стану, не смогу стать. Ушла бы, например, с геологической партией, но тогда отдалится театр. И снова буду тосковать.

1959 год.

Февраль, 25.

Какое-то состояние влюбленности, но в кого или во что – не пойму. Думаю о хорошем, о верности, об изумительных цветах, изумительных картинах, о китайском художнике Ци Бай Ши. Думаю о том, что когда-нибудь выйду на сцену актрисой и заставлю людей смеяться и плакать. И души людские будут очищаться от мелочей, от пошлости. Какой сильной, красивой может стать моя судьба. Бог мой, помоги! Веди меня. Ведь я часто делаю глупости. Я должна что-то совершить для людей. У меня странное ощущение, что я на правильном пути. Вот только не понимаю, чего хочу больше: писать или играть на сцене.

1960 год.

Сентябрь, 23.

Золотые листья, по утрам туманная дымка, которая пахнет кострами. Я – студентка Театрального училища им. М. С. Щепкина.

Я хочу играть! Как трогательно и просто Кольцов играл вчера Тузенбаха в мхатовских «Трех сестрах». Какой тонкий актер и умница! А у меня не ладится ничего. Кажется, я никому не нравлюсь в училище: огромная, неловкая. Ну и пусть. Я чувствую теперь, что театр – единственное, что мне нужно. Я это знаю на верное и люблю каждое мгновение нынешней моей жизни. Новый день я встречаю с мыслью, что вот, наверное, сегодня узнаю самое важное и перестану наконец тосковать по зеленым и красным мирам, и научусь принимать жизнь, какая она есть.

Октябрь, 18.

Не верю в себя. Мне никто не нужен. Мне хватает себя. И я ищу, вечно ищу, чтобы снова понять – нет, это не то.

Ноябрь.

Хандрю. Как сделать, чтобы тебя не ранило окружающее? Как быть выше чужих мнений? Мне больно. Видела Романова в «Дяде Ване». Это гениально. Всем на зло хочу играть так, как он.

Декабрь, 15.

Холодно и луна.

Маленькая мышь. Освоилась у меня в комнате и бегает забавно. Только что же ты совсем не обращаешь на меня внимания? Наверное, моя комната кажется тебе такой же огромной, как и мне, – дворцом богини Исида? Она жила ужасно давно, но смотрит на меня вечно юная и мудрая. Книжки не такие загадочные, как сфинксы, но все-таки здорово помогают мне.

1961 год

Январь, 10.

Сдала мастерство. Дальше. Потом смотрела английского «Макбета». Когда вышла Барбара Джерфорд, я почему-то подумала, что это я вышла. Есть что-то общее. А теперь сижу и думаю: у нас в Училище есть очень странный мальчишка. Я еще не знаю из чего он «сделан». Знаю только одно, что я хочу его видеть. Я сейчас умираю, как большая птица. Брожу по училищу в надежде встретить его. А при встрече быстро прохожу мимо. Хочу видеть его лицо. Иногда очень забавное, курносое, почти смешное. Я благодарна ему за это волнение, за возникающие мысли.

Март, 1.

Минутами бывает такое состояние, что вот сейчас подойду к тебе и скажу: «Я не могу без тебя». Не видела его два дня. Нарочно избежала, сама не знаю почему. Кажется, и лица уже не могу вспомнить. С ума сойти!

Я смотрю издали, как ты ходишь, знаю цвет твоих рубашек, костюмов, свитеров, а лица – нет. Господи, почему столько лиц, ничего не значащих для меня, я могу представить, а тебя, твое лицо – не могу.

9.

Занимаюсь ужасно глупым делом: болею. Лежу и придумываю, что ты ходишь по училищу и ищешь меня. Глупо. Ну и пусть. А летом я буду бродить, узнаю много интересных вещей.



Я хотела бы всю жизнь оставаться ребенком. Протягивать руку к игрушке и верить, что это твой лучший друг. Однажды я проверила: от тоски надо лечиться грустной-грустной музыкой в полумраке. Тогда опять захочется солнца и смеха. Наверное, и через тысячу лет, таким способом будут лечить. Когда рядом люди, я становлюсь такой же, как они. Я интересуюсь, почему эти туфли, и редко думаю об удивительных вещах. Я пропускаю пустяки, которые имеют глубокий смысл. И только, когда я одна – все по-прежнему. Так что же, люди? Вы помогаете? Или, наоборот, от вас захочется уйти и жить подружому? Никогда не буду взрослой, не перестану верить в Маленького принца.

Апрель, 13.

Опять лежу больная. Встречала весну 10 апреля. У меня были резиновые сапоги. Бродила по всем ручейкам, умывалась в них, пила талую воду, а теперь болею. Человек в Космосе! Пережила такое возбуждение, что оно одно вывело бы меня на орбиту. Поздравляю всех сильных и смелых. Не слюняев, вздыхающих на звезды, а рвущихся в небо и бросающихся в бездну. Слава вам!

10. 55 – приземление корабля. Я такая счастливая дура, я смеюсь, а небо хмурится. Будут завидовать тем, кто жил в 1961 году. Это уже история. Это надо осознать. Постараюсь.

Май, 15.

Безумное время. Века, поколения завидуют нам. Удивительно симпатичный парень – этот Гагарин. Такое обаяние! Все точно взбесились, ходят какие-то очищенные. Мальчишки, шмыгающие сегодня носами, вы же поведете в космос корабля. А я, если и полечу, то только тогда, когда будет воздушная трасса Москва – Марс. Безумно жалко, но можно лишь мечтать, что поведешь корабль. Мучаюсь отрывком, а Виктор Иванович Коршунов смеется над нами: «Люди Космос покоряют, а вы отрывка сыграть не можете». Надо работать. Может быть что-нибудь и выйдет. Не может не выйти, когда весна и корабль идет в космос. А высунуть голову и подышать там нельзя.

А как хорошо дышать – ранним утром, осенью, летом после грозы. К концу дня 15 мая

хожу и злюсь – не получается отрывок. Надо приучать себя не зависеть от мнения окружающих. Это надолго выбивает. Реву по каждому пустяку. Начинаются зачеты. Ничего еще не сделать и так верить в себя... Зазнайка ты – вот ты кто! Но я не могу ничего, если я не верю в себя.

21.

Мы даже не здороваемся. В сущности это все очень несправедливо. Я же живая. Слушай, ведь я даже не целуюсь ни с кем Бог знает сколько времени! Ты мне нравишься очень, очень.

Июнь, 15.

Сдала мастерство. Я должна готовиться к экзамену по истории западного театра, а он сегодня сдает политэкономии. Бросила все и пошла в училище. Он стоял рядом с мальчишкой со своего курса. Я чувствую, что ему очень весело. Мне тоже стало весело. Я смотрела в книгу, а строчки прыгали. Я, девчонка, у которой под носом фиалки, которая обложилась учебниками, – я верю в тебя. Верю, что ты мимо не пройдешь! Ну и самомнение у меня, доложу я Вам! Нет, серьезно, а почему бы нет? Я большая и сильная!

20.

Не могу больше. Я понимаю, верить, фантазировать – это хорошо. Это заставляет замирать сердце. А потом тоска по настоящему, живому, а не придуманному чувству.

26.

Пошлость кругом, а я стремлюсь приспособиться. Это ужаснее всего. Изматываю душу. Куда уехать, чтобы не видеть этих лиц? Хандрю. Ужасное настроение.

Июль – август, Крым.

Писать не буду.

Ноябрь, 11.

Когда его нет в училище, все теряет смысл. Не оставляй меня ни на минуту! Тревога сводит с ума. Все, о чем я так верно, трезво думаю по ночам, я перечеркиваю утром, выкидываю из головы, как очередную глупость. А все-таки мне нравится эта тоска. Она много дает. Все тебя считают сильной, удачливой, счастливой, а ты мечешься, как раненный зверь. Репетирую эпизод в «Коллегах» в Малом театре.



17.

Поняла, что я ничего не знаю, но буду стараться узнать. А вообще-то обидно. Человек что-то поймет в этой жизни, а ему пора уже не быть. Сколько вас ушло в вечность! А мы за вами снова повторяем все ошибки и к концу понимаем: надо пойти дальше, иначе бессмысленно жить... Нельзя уходить с тем же, с чем ушли вы, надо быть человечнее, больше оставлять после себя. Первый встречный, если ты захочешь, почему бы тебе не заговорить со мной?

Декабрь, 12.

Ребята веселились, а я ходила по комнатам. Я благодарю тебя за то, что становлюсь человеческой, когда вижу тебя. И хочется только отдавать и ничего не брать взамен. Шутила, смеялась, делала глупости и смотрела на тебя. Я не спала, боялась что-то растерять из ощущения, что ты в этой же комнате спишь. Вы так смешно спали с Витькой Павловым, и вам было тесно.

16.

Никто не способен ходить по радуге, но достаточно, если человек об этом тоскует. Надо уметь уходить вовремя, в разгаре веселья, улыбок, нежности, печали, всего человеческого, чтобы оставалась тоска по всему этому и хотелось бы вернуться. Чтобы оставалось недосказанное.

Я задумалась о Золушке. А почему в стране грез можно быть лишь мгновение? И поняла, что от хорошего должна оставаться тоска. А возвращаться – не надо. Это, наверное, не новая мысль. Многие ее поняли раньше меня. Опять болею – не хожу в училище. Наверное, надо мудрее жить. А Томуся Багреева – в голубом блестящем платье. Мне стало жалко себя. А потом я справилась с этим, стояла у открытого окна, а теперь болею. Прощай, Маленький принц! Поздравляю тебя с 20-летием.

Все перевернула статья Товстоногова. Современный человек, мощный и сдержанный от внутреннего богатства. О таком человеке надо и говорить по-новому.

31.

И надо же было случиться, чтобы глупость и пошлость коснулись всего. Коснулись именно в последний день этого года. Надо простить.

И вот сижу и убеждаю себя все забыть. Это, наверное, ненормально: я все и всех прощаю. Эх, Виташа, Виташа Соломин, мой Маленький принц! Тоска от людской глупости и пошлости. Большая дура, которой все дано. Пошлю их всех к черту! Я сейчас не очень сильная, немножко ною. Повесила на этажерку лампочки. Сижу и улыбаюсь своей глупости.

Новый год. Его я буду встречать в лесу. Найдем там елку, выпьем шампанского и постараемся быть веселыми. Прощай, год

1962 го.

Январь, 27.

Сдала мастерство. Дальше. Салют очарованным душам! Завтра я в Ленинграде. Это подарок себе. 23 года назад я появилась на свет. Тоска и радость. Много радости дал экзамени по мастерству. Я подняла голову. Я теперь верю. А завтра буду бродить по улицам Ленинграда. Надо выпить бутылку молока по этому поводу. Что я что-то поняла в этой жизни. Чутьочку. Что есть зеленые миры и другие города и есть Соломка, которому ужасно хочется посмотреть в глаза близко-близко. А он этого не понимает.

31.

Я в холодном Ленинграде. Мне хорошо. Я принимаю Христа и импрессионистов. Христос видел несовершенство человека, но все же умер за него. В такого я верю. Открыла для себя Антокольского, его Мефистофеля и Христа перед судом народа. Нужен такой Христос и такой Мефистофель. Христос как у Рембо:
*Бог то смеется в окружении узорных
Покровов алтарей, где золото блестит,
То под баюканье осанны сладко спит
И просыпается, когда в одеждах черных
Приходят матери в смятенъе и тоске
Вручить ему медяк, завязанный в платке.*

Принимаю Рембо, бывшего до 20 лет поэтом, а потом, до смерти скитавшегося по миру. Надо взять у них эту муку, делающую их страдальцами из страдальцев, отверженцами из отверженных. Но, вместе с тем, и мудрецами из мудрецов. Они гибли под бременем неслыханного и неизреченного. Надо начать там, где они кончили, где они бессильно поникли, и пойти дальше.



Открыла роденовских Ромео и Джульетту, «Мост» Клода Монэ и «Лунные пятна» Куинджи. Надо много думать. Лоджии Рафаэля нельзя не видеть. И этого Мефистофеля – комок нервов и ума. Надо расширять пределы внутреннего мира.

Февраль, 19.

МХАТ. Большая сцена. «Афродита» и я. Все как-то странно. Я уже на втором курсе, а все еще иногда не верю. Подхожу к училищу и думаю: я ведь учусь здесь! Радостно, и неожиданно. Как подарок, который подарил кто-то милый и добрый. Спасибо.

24.

А зачем мы существуем? Человек мечется, а в конце концов его ждет смерть. Дела твои будут жить после тебя... Красиво... А тебе какое до этого дело? Тебя-то ведь не будет! И удача ничего не решит, и успех. Человек умирает, что бы он ни сделал. И только ты сам можешь дать отчет в конце жизни: зря ты прожил или нет? А что скажут и подумают другие – чепуха. Человек рождается, мужает, производит детей, борется за кусок хлеба и умирает. Но есть красивые судьбы. Гоген хотел создать другой мир, неважно создал он его или нет. Нефертити поклонялась солнцу. Вечность – это предрассудок, слабость. Нужно быть мужественным: все исчезает с тобой. Вот в чем тайна жизни. А мы этого не понимаем. Жить каждым мгновением жизни, а потом уйти. И неважно отыщут ли тебя через 35 веков, как Нефертити.

Март, 13.

Вот он смысл жизни: идет новая весна.

С тревогой протягиваю руки к тебе, Надежда Монахова. Почему я? С ума сойти.

Апрель, 22, 23.

Боюсь расплескать хоть каплю. Мне даже стыдно этой наполненности. Надежда ты моя!.. Было много ерунды за этот месяц. А сегодня ты приснился. Господи, сколько нежности! Мы почему-то долго держались за руки, смотрели в глаза друг другу. Щемящая тоска во сне. Я могла бы жить этим, но ты так редко мне снишься. Репетиции «Варваров». В перерыве – солнце в переулках, набухшие почки и катер по Москве-реке. Надо сделать Надежду. Через месяц экзамен. Этим можно жить.

25.

Открыла для себя Цветаеву. Произошло то же, что с Гогеном. Другой мир. Их мир. Трагическая судьба людей. Очень близка Цветаева. Одинокий гордый человек, о котором я думала в 19 лет. Господи, сколько страсти в ее стихах.

Июнь, 8.

Сдала мастерство. Дальше, моя девочка!.. Откуда это берется? Эти силы, когда зал затихает и ждет. Благодарю тебя, Господи! Я уже опомнилась. Могу спать, есть, говорить и даже хочу заняться политэкономией. Два дня после экзамена – трясло. Лежала с открытыми глазами, бессильная встать, бессильная уснуть.

В ЛАВРСКОМ ПЕРЕУЛКЕ

– Когда ты впервые подумала о том, что хочешь быть актрисой?

– Мысли у меня такой не было... Но сначала я хочу немножко рассказать о детстве. Я росла на Самотеке, мы тогда были почти деревней. Это потом уже начали строиться Олимпийский проспект и Самотечная эстакада. В Троицкой церкви помещался то ли склад, то ли гараж, а с горок и холмов мы, извини, на заднице, на таких фанерных штуках катались. Внизу располагался роскошный Екатерининский парк. Сейчас там не поймешь что, дохлый скверик какой-то... А тогда это был настоящий лес, и вся наша ребячья жизнь в нем происходила. Мы жили наверху, на горке, в маленьких домиках-«клоповничках». Такие мещанские домики – нижний этаж каменный, верхний – деревянный. Все переулочки были застроены ими. И улицы назывались – Первая Мещанская, Вторая Мещанская, Третья... Они все круто спускались сверху. Чем ниже, тем беднее. А мое место рождения – Третий Лаврский переулок – это уже самый низ был. И наше семейное «благосостояние» было на самом дне.

Я все время хотела есть. Всегда. Это было что-то страшное, несмотря на то, что я была длинная и худая. Или еда была такая пустая? Но случались и «пиршественные» дни. В субботу утром мать обязательно шла на Центральный рынок, а там продавцы – с мясом, с яблоками,



с клюквой... Потрясающее зрелище! Чтобы мясо было красивое, эффектное, срезали верхний «заветрившийся» слой. И вот мать покупала обрезки. Нормальное, хорошее мясо, – но в обрезках, и яблочки немножко с бочками. А самое главное пиршество наступало, когда она приносила сумку яблок, особенно антоновку, от запаха которой можно было с ума сойти.

У меня другой судьбы не было, у меня судьба была только одна: на Центральный рынок продавщицей или проституткой на улице... Понимаешь, это – Лаврские переулки... Я не могу тебе объяснить. А между ними Троицкая улица, где церковь, которая была разрушена. Ее сейчас восстановили, но теперь уже священники отобрали все это пространство.

Я очень любила суп с обрезками, особенно фасолевый. Первые два дня можно было с ума сойти от его аромата. Но холодильников еще не существовало. Значит, на третий день все кипятилось. На четвертый – кипятилось, а уж на пятый эту жижу невозможно было есть. А когда мать не успевала прокипятить, она сыпала туда соду, варево вспенивалось, но все равно его ели. Ливерная колбаса была довольно приличная. Ее сейчас в природе нет. Потому что даже внутренности пускают в дело. Мать ее с луком разжаривала, эту ливерную колбасу, а я потом корочкой хлеба сковородку досуха «вытирала».

Помню старые алюминиевые кастрюльки и макароны, как трубы, серые и осклизлые при варке. Еще густо-густо варили пшеничную кашу, и она почему-то становилась синяя. Был еще такой плодово-ягодный концентрат, мы его разводили кипятком, кашу резали кусками и заливали этим киселем. И еще в детстве я обожала котлеты – по 6 копеек штука. До сих пор мне кажется, очень хорошие. Вот и вся наша еда, а есть хотелось все время.

У нас в «клоповниках» и водопровода не имелось. Воду брали из колонок во дворе. Ни о каких ваннах даже не мечтали. Была баня Самотечная, но с начала мая в лесу, в Екатерининском парке, ставили кабины. За 10 копеек мы, ребяташки, постоянно бегали в эти души, нам безумно нравилось... Такой был кайф!

– Вода-то холодная?

– Нет, подводили и горячую воду – «тепленькая пошла»... К нам спускалась трамвайная линия, она и сейчас существует, а выше если завернуть, был стадион «Буревестник», сейчас от него не осталось никакого следа.

Мы вернулись из эвакуации в 1946-ом году. И это нищее, голодное, послевоенное детство давало нам фантастическую свободу. В лесу – Екатерининском парке, в старинном здании располагался «Уголок Дурова», театр зверей, но не такой, как сейчас, а маленький и скромный. Там же находился районный Дом пионеров. В каких только кружках я ни занималась!.. Потому что моим родственникам не было до меня никакого дела.

– Отец был жив?

– Никакого отца у меня вообще не было.

– Как это?

– Ну он был, конечно... Где-то перед войной возник Петр Андреевич Поляков, но после войны к нам не вернулся. Остался ли жив?.. Не знаю. Я даже не знаю, как он выглядел.

– А мама?

– А мама все время «искала личную жизнь». Так что всем на меня было глубоко-глубоко наплевать...

– А профессия у мамы имела?

– Что-то вроде бухгалтеря.

– Красивая была?

– Очень интересная. А бабка какая была! Красавица. И кружева иногда носила.

В Уголке Дурова жил слон. Наверное, о таком Крылов написал: «По улицам слона водили...». Нашего – водил карлик. Я ухаживала за слоном, а потом он появлялся на маленькой арене, поднимал хобот... Помню тумбы разноцветные, на которые слон ставил толстую ногу. Это все детские воспоминания. Но главное, я тогда научилась шить, варить, готовить... Потому что в пионерских кружках учили всему. Там был и театральный кружок.

– Где он был?

– В Уголке Дурова.

– Прямо в Уголке Дурова? В этой воннице?

– Ну, как тебе сказать... Все-таки там пространство было. «Уголок» больше принадлежал парку, лесу... Я недавно проезжала мимо.



То, что теперь стоит, эдакое ажурненькое, – и был старый Уголок Дурова. Там имелась сценка маленькая, железная дорога маленькая, по которой мышки катались. А потом построили всю эту сегодняшнюю хрень и назвали Театр зверей имени Дурова.

Кроме кружков, я еще во все спортивные секции ходила. Сначала занималась коньками, бегала дистанции на 400 и 800 метров. Но однажды взглянула на себя в зеркало, – дома у нас было высокое зеркало, и мне показалось, что у меня ноги, икры стали мощные, как у спортсменов...

– Дискболка...

– Я сказала себе: «Ой, как это некрасиво, ужасно!» – и бросила коньки. Начала заниматься фехтованием. Меня тренер взял, у меня руки длинные были. А тот, который по конькам, ходил к моей матери, уговаривал, чтобы я вернулась, но мать сказала: «Да пусть занимается, чем хочет, лишь бы с глаз долой и не мешала...» Так что детство мое было фантастическим.

У меня есть фотография не то 4-го, не то 5-го класса. Я играла Кукушкину в «Доходном месте». Безумно смешная фотография – на обороте написано: «пятьдесят какой-то год».

Когда я повзрослела, стала девушкой пятнадцати–шестнадцати лет, я сказала бабушке: «Ба, может, мне стать артисткой?» Бабка меня очень любила и что-то во мне видела. Копия Пашенной, – могу фото показать, – она была совершенно гениальная рассказчица, особенно когда пару рюмок пропустит. «Беломорину» свою закурит, и весь двор, все «клоповнички» затихали. И слышно было одну только Надежду Ивановну. Я с ней первой поделилась. А была я метр семьдесят шесть ростом. По тем временам – немыслимая дылда. Все вокруг маленькие, а я – длинная, худая дылда. Бабушка на меня посмотрела и так сочувственно говорит: «А с кем же ты играть-то будешь? Ты взгляни на себя! Где тебе мужика найдут на сцене?». Они все считали, что я очень некрасивая. Я потом поняла, что была оригинальная девушка, но тогда мне никто этого не объяснил.

– Бабушка была совсем простая?

– О бабушке расскажу. Так вот, иногда я слежу за чьей-нибудь судьбой и говорю себе:

«Ну, хорошо, у нее отец писатель или композитор, мать – артистка ...» То есть, ты понимаешь, – среда. У меня среда была чудовищная. Помнишь наш ночной разговор на палубе парохода, на Волге, когда ты меня упрекнула, что я вот такая эгоцентристка, занята только собой, своими ролями, что другие люди мне не интересны и поэтому не очень меня любят... Но если бы я каким-то образом, с самого раннего детства не создала свой собственный мир мир фантазий и «закидонов», я бы, наверное, погибла. Я придумывала себе все: и судьбу, и встречи. Придумывала, как будто все это на самом деле было. Так я однажды, – много позже, во взрослом состоянии, – сочинила себе встречу с поэтом Иосифом Бродским. Придумала, а потом поверила, что так оно было. В Италии на мосту, там, где замок Святого Ангела...

– В Венеции?

– Нет, в Риме, именно в Риме! И внизу парк. Я его вроде бы и узнала. А в другой раз, тоже взрослой, я ехала на дачу в Сергиевом Посаде по жуткой дороге... Я там несколько лет жила... Но не будем отвлекаться.

– Куда ты торопишься? Ты говори, пока не устала...

– Я не устану. Давай, коснемся моего происхождения...

– Давай.

– Дело в том, что наша семья, мы все – Романовы. А до революции это означало, что все дети мужского пола с такой фамилией имеют право поступить в техническое училище или стать кадетами, а, выросши, – офицерами или инженерами. Девушек принимали в гимназию...

– Дворянское происхождение присваивалось, что ли?

– Нет-нет!. . Существовало такое правило: однофамильцы царя имели право на бесплатное образование. Моя бабушка из простой и бедной семьи, окончила гимназию. Прадеда и прабабушку Полину я чуть помню. Мы, дети, совсем маленькие были, и нас водили к ней поздравлять с праздниками. Я шла по дороге и заучивала: «Дорогая прабабушка, позволь тебя поздравить с 8 марта». Приходила и говорила: «Позволь тебя поздравить с Первым мая».

*Pro memoria**DM*

Л. Полякова.
Детство и юность



Была классическая русская семья: 9 человек детей... И бабушка моя была даже не из старших, а где-то посредине. Она перед революцией, в 1916 году закончила гимназию, – совершенная красавица. Могу ее фотографию предоставить.

Красавица была, закончила гимназию, и тут же ее отдали замуж. А жениху – около сорока лет. Моя мама незадолго до смерти о нем рассказала. Я, наконец, узнала, кто мой настоящий дед. Потому что бабушка поменяла фамилию, стала Александровой. А на самом деле мы – Хандрало. Ее муж – Стефан Хандрало, то ли поляк, то ли венгр. Как я потом говорила – «западенец», но конкретно ничего не смогла узнать. Мать была Вера Стефановна Хандрало. Она терпеть не могла свое отчество и фамилию и, чтобы сменить их, выскочила замуж за Петра Андреевича Полякова, когда ей (как и бабушке) еще и семнадцати не было. А получая паспорт, написала, что она Вера Степановна. Раньше вообще все скрывали, все эти корни ...

– А что же тут такого: Хандрало? .

– Дело в том, что как только революция произошла, в 1921-м или 1922-м году, бабушка мужа бросила, хотя у нее было уже двое детей. Мать моя рассказывала, что Стефан служил в банке и у него имелся капитал. И вот он взял себе гимназисточку – мою бабушке. Ей 16, а ему – 40. «Неравный брак». Они поселились на Первой Мещанской в особнячке, где сейчас какое-то посольство. Занимали весь второй этаж. А потом бабушка «послала» этого Хандрало и осталась с двумя дочками. Мама рассказывала, что Стефан, чтобы не привлекать к себе внимания, ютился в коморке под лестницей, а окончательно исчез в конце 1920-х годов. И еще мать рассказывала, что он играл на скрипке. У нас было совершенно безалаберное семейство, никаких корней и никаких связей ни с кем не сохранилось.

– Это было типично в советское время

– Абсолютно. Безродные, родства не помнящие... Бабушка продолжала оставаться красавицей, несмотря на двух подраставших дочерей. Где-то в 1930-е годы у нее возник муж Вася Александров, и она стала Надеждой

Ивановной Александровой. Но перед войной и он тоже исчез – никаких следов.

– А куда он исчез? Может быть, его арестовали?

– Они мне ничего не рассказывали. Мы ничего не знали. Короче говоря, моя бедная бабка, – я тебя уверяю, – действительно была гениальная, мощная женщина. У нее рязанские корни. Не из северных славян, но такая же крепкая, сильная...

И ей нужно было двух девок своих поднимать. А у матери я родилась, и с отцом они уже не жили, когда после войны мы вернулись из эвакуации. У маминой сестры было двое детей. И вот все мы оказались в Лаврском переулке, в двух комнатах. В одной жила бабушка, тетка и ее дети, а мы с матерью помещались в шестиметровой комнатухе без печки, без всего...

– То есть, после эвакуации свою довоенную квартиру вы потеряли?

– Все пропало.

– А твоя мама тебя не любила, что ли ?

– Дело в том, понимаешь, что у меня с ней не было ни близости, ни нежности, не помню никаких таких мгновений.

– А с бабушкой?

– Бабушку помню хорошо. Я тебе говорила, что она заводная была, еще когда рюмашку пропустит, – вообще восторг! Из нее сыпались анекдоты, прибаутки... Курила – как сапожник.

– Бывшая гимназистка?!

– Ты можешь себе представить шестиметровую комнату, куда мать чуть ли не каждый вечер приводила кого-нибудь нового... И все это я видела и слышала. Нет, я не сетую, я за все благодарна судьбе. Я выросла бы другой, если бы всего этого не узнала. А тетка, материна сестра, была очень противная. Она меня наутро встречала и каждый раз спрашивала: «Ну что, Милка, как тебе твой новый папа? Нравится?» Нет, конечно, я мать все равно любила...

Я любила мать, но помню, как в очередной раз она, недовольная мною, выгоняла меня из дому. У меня были огромные валенки. И каждый раз, когда она вкладывала их – один в другой, я понимала: наступает страшный момент, меня опять из дома выгоняют.

– На улицу?



– В конце концов, мы мирились, плакали, я ей кричала: «Мамочка, ну почему мы не можем жить только вдвоем? Нам ведь никто не нужен, мы только двое должны жить!» А она мне объясняла, что этого не может быть, чтобы мы вдвоем с ней жили.

– Она нашла кого-то себе?

– Много лет спустя я снималась в фильме «Хозяйка детского дома», играла женщину, которая из-за любви к мужчине сдала маленького сына в приют. У меня там главный монолог, когда я Наташе Гундаревой – Хозяйке, рассказываю, как моталась за любовником по всему Советскому Союзу. Эту свою роль я посвятила маме.

– Это все было написано в сценарии или ты сама придумала?

– Там что-то было написано, но я обычно переделываю сценарий, под себя его приспособливаю...

Так мы с матерью и жили. Как только я пошла в первый класс и до пятнадцати лет, каждое лето меня отправляли в пионерский лагерь на три смены, и никто никогда навещать меня не приезжал. Помню жуткий случай, когда у меня завелись вши, мне стали их травить, обстригли наголо, и я от стыда, от ужаса побежала топиться в сортир.

– После войны у многих были вши... Еда плохая, мыло плохое, да и его в обрез. Золотые волосы мыли...

– Мне же никто ничего не объяснял. Мне казалось, – стыд невыносимый. Ну, неважно, потом как-то уладилось.

Лагерь был при 4-ом автобусном парке, где мама работала, и находился всегда в одном и том же месте, довольно далеко от Москвы. Я все там знала, до любого закоулка. Там были заросли сирени, жасмина, я их исследовала и выбирала себе «местечко», с самого начала, как только меня начали возить. Не могла целый день находиться с этими пионерами. Мне же нужно было «созерцать»!..

У меня воспоминания яркие-яркие! Я росла очень одиноким ребенком. А самые счастливые мгновения наступали, когда я заползала в свою «норку», а у меня там цветные стеклышки хранились, фантики я собирала и все, что

от полдника оставалось, – печеньице, конфеточка, яичко крутое – запасик. Собственный мир. Вот почему я так люблю свою маленькую квартиру на последнем этаже многоэтажки в Колобовском переулке, откуда вид потрясающий, – свою «норку» или как я говорю: «Мой маленький замок». Я всегда строила себе «норки» и «замки». А самое любимое время дня для меня – сумерки, когда еще не зажигают фонари, но уже идет темнота.

Когда я, уже взрослой девушкой, еще до Щепкинского училища работала в лесной школе воспитателем, появилась в печати вся эта фантастика – Бредбери, Стругацкие, Азимов... «Марсианские хроники» я рассказывала ребятам изо дня в день, фантазируя, придумывая, досочиняя, как давным-давно в пионерском лагере. Наверное, здесь-то и начала проявляться моя натура, но, повторяю, после того, давнего разговора с бабушкой, мысли о том, чтобы стать артисткой, даже в голову не приходило.

– Но все-таки, ты ходила в театральный кружок, играла на сцене...

– Все давно было забыто, и планы рождались другие.

– А в кружке тебе никогда не говорили, что у тебя очень красивый голос? Глубокое контральто...

– Нет, не помню. Да, Господи, занимаются и занимаются дети! И слава Богу, что ходят в кружок, а не на улицу...

– В какой школе ты училась?

– Школы у меня были разные. Сначала на 4-й Мещанской – начальная, с первого по четвертый класс. Сейчас в этом старинном здании привилегированный детский сад. Я помню свою первую учительницу, но я ее ненавидела, потому что мы считались очень бедными и поэтому мне все время давали какие-то посылки. Помню капор – я его ненавидела страшно, ботинки... Очень унижительно. Но поскольку ничего другого в доме у нас не имелось, меня таким образом и одевали.

Потом была следующая – «средняя» школа, в которой я проучилась до 8-го класса.

– А училась ты как?

– Понятия не имею, как я училась. Школа – словно чистый лист бумаги – ничего не помню.



– Мама не интересовалась отметками?

– Ничего не помню, и как меня переводили из класса в класс – не помню. Как ни странно, но и в этой школе была мерзкая учительница по литературе. Мы ее очень не любили: советскую хамку и лахудру. Так что никакого чувства ни к литературе, ни к поэзии в тот момент у меня возникнуть не могло... А в доме нашем книг не было совсем.

Когда я получила первую свою зарплату, то пошла на Кузнецкий мост, в магазин «Подписных изданий», и на все деньги, какие мне дали, выписала все, что только было возможно.

– На первую театральную зарплату?

– Какую театральную?! Ведь до поступления в театральное училище я работала три года. Я на первый курс пришла в 21 год. Но давай по порядку. Никто теперь не помнит, что в начале 1950-х (я тогда училась в восьмом классе) неожиданно объявили, что теперь надо платить за школу. Очень ненадолго, но это было. Я помню, как бабушка со своей груди достала 200 рублей. Она всегда боялась, что ее ограбят, и все заначки носила в лифчике.

– А мать не могла платить?

– Мать не могла. Девятый класс я проучилась, потому что бабушка заплатила, а в десятом я уже работала на почте. (У меня до сих пор страсть к большим, похожим на почтальонские сумкам).

Семнадцатилетняя, нескладная, с огромной почтовой сумкой, я ходила по квартирам, разносила письма, газеты и училась в Школе рабочей молодежи, которую и окончила.

БОГ МНЕ ПОСПОСОБСТВОВАЛ

Мы еще продолжали жить в Лаврских переулках, а на 4-й Мещанской находился Дзержинский райздравотдел, и однажды на его стене я увидела объявление: «В лесную школу для ослабленных детей в Павловом Посаде требуются педагоги-воспитатели». Я вошла, объяснила мои обстоятельства, что только что школу закончила... Они сказали: оформляйтесь.

И я уехала туда. У меня были детишки с 1 по 4 класс. Я с ними занималась. Они были ослабленные...

– Здоровьем или мозгами?

– Нет, здоровьем. У них были больные легкие, и они жили в лесной школе. Я с ними готовила уроки, гуляла, ходила на лыжах. Сейчас мы все знаем, что такое сериалы. Тогда я этого не знала. И додумалась вот до чего: начинала им что-нибудь рассказывать, а потом говорила – «Если сделаете это и это, то завтра услышите продолжение...». Они ходили за мной табунами, а я чувствовала необычайное вдохновение.

– Ты сочиняла или по книгам рассказывала?

– По книгам, но многое и от себя добавляла. Подписные издания пересказывала. Я тогда очень любила Паустовского, открыла его для себя. Рассказывала детям его повести. Фантастика в то время выходила очень хорошая. (У меня сейчас дома потрясающая библиотека фантастики.) Я и ее ребятам часами «излагала». А когда дело дошло до «Марсианских хроник», то мне показалось, что вроде бы я и сама там бывала. Но, как всегда случается в реальной жизни, вокруг меня возникла злоба и зависть! Педагоги начали меня уничтожать. Потому что для детей существовала только Людмила Петровна. Только и слышалось: «Людмила Петровна сказала, Людмила Петровна сделала...» И вот в один прекрасный день, напитанная Паустовским, который уже вошел в меня глубоко, я решила, что человеком можно стать только в Одессе. Там море, там соленый ветер...

– Александром Грином пахнет...

– Да, да... Я и Грина уже знала. Короче говоря, сказала себе: «Да пошли вы все!» Уволилась из лесной школы, заплатили мне какую-то денежку, и я полетела в Одессу.

– Зачем?

– Надумала поступать на океанографический факультет, бороздить океаны. Я же говорю, – никакой артистки даже в голову не приходило... Я не думала о том, а где я там буду жить, на что буду жить... Была уверена, что приеду, все им объясню, они меня выслушают, на меня посмотрят и возьмут в институт. Но никуда меня не взяли. Экзамены уже закончились. А тут явилась – длинная, худая, пальтишко в талию, чуть расклешенное. (Тогда только-только начали появляться чешские, польские шмотки),



и еще – при моем-то росте – на огромных каблуках. Можешь себе представить? На меня смотрели, как на ненормальную. Все, с кем я в приемной комиссии разговаривала, почему-то упорно разглядывали мою талию и живот.

– Что их так беспокоило?

– Они думали: не беременна ли? Из Москвы уехала ни с того ни с сего!. . И все допытывались: что у вас случилось?

– Ты выписалась из Москвы?

– Нет, мне даже и в голову такое не пришло. Приехала в Одессу, пришла в институт: вот она я!. . А мне говорят: «Девушка, надо было все узнать хорошенько, заявку подать, на экзамены не опаздывать...». Я им в ответ: «Ну, хорошо, учиться вы меня не берете... Давайте я у вас стану кем-нибудь работать, вы мне дадите общежитие, а в следующем году я буду снова к вам поступать».

Деньги у меня заканчивались. Жить было нелегко. Я уже начала на вокзалах ночевать. А что мне оставалось делать? Хорошо еще, что в милицию не забрали. Сколько это длилось – неделя, десять дней – я сейчас не помню.

– И никто к тебе, молоденькой девушке, на вокзале ночью не приставал?

– Тогда это было не опасно. Это все-таки 1950-е, не сегодняшнее время. Помню, что на остаток денег я купила огромную соломенную шляпу, розы, такие коротенькие, они пахли – обалдительно, положила их прямо в шляпу и на самолете полетела обратно в Москву ...

Самолеты тогда были жуткие. К концу полета я оглохла, ничего не слышала, не понимала. Так с шляпой, с розами и заявила домой.

А мать моя даже не поняла: с чего вдруг девка вернулась? Думала, что я попрежнему в лесной школе работаю. Какой-то мужичонка был у нее в это время постоянный. Я его так просто и звала: мамин муж. А отчимом не называла. Мать разрешила: «Живи, раз приехала».

Но после Одессы у меня вдруг с мозгами случился резкий поворот. Я уже начиталась Генриха Манна: «Юность короля Генриха IV», «Зрелые годы короля Генриха IV». В подписных изданиях у меня был Генрих Манн. И я влюбилась в Генриха IV и решила стать переводчиком с французского. Поступила

на подготовительные курсы в Иняз на Метростроевской и очень интенсивно занялась французским (у меня с тех пор все словаря есть).

– А почему ты учила не немецкий, а французский? Ах, поняла! Ради Генриха IV, а не ради Генриха Манна...

– Конечно, ради Генриха – короля Наварры! Самое смешное, что когда я в первый раз оказалась на этом Понт-Неф, Старом мосту в Париже, я сказала вслух: «Генрих! Это я, Генрих!» Ужас! А сейчас, в своем возрасте, я съездила, наконец, и в Наварру. Взяла с собой сына Ваню и сказала: «Генрих, я тебе наследника привезла, на развалины нашего замка!» У меня фантазии ненормальные.

– Ты поступила на курсы, но курсы-то были платные...

– А я уже работала.

– Где?

– Я работала на Неглинной улице, там, где одно время был нотный магазин. А с другой стороны находился трест Главгаза СССР, в который я и устроилась. Оттуда ездила на курсы, переводила, как минимум, по две страницы в день.

Когда теперь я оказываюсь в Париже, то через неделю уже говорю по-французски. Конечно, на бытовом уровне.

Однажды с Малым театром мы приехали на гастроли в Марсель и я дурачила всех, грасируя, бегло болтала по-французски (якобы). Тамошние критики написали: «И эта великолепная русская нянька, к тому же с прекрасным знанием французского языка».

– Почему нянька?

– А мы «Дикарку» Островского в Марсель возили, я играла няньку, и все мои восклицания были на французском. В какой-то момент я по французски даже и анекдот могла рассказать.

После Одессы я резко изменила свою жизнь. Работала секретаршей треста, но решила стать «бизнесвумен», как сказали бы сегодня.

– Ты и на машинке печатала хорошо?

– Не то слово! Я занималась стенографией, машинописью и французским. А дальше – наступил «критический» период в моей жизни.

Я любила в сумерках бродить по Москве. Она раньше не была такой загаженной, и тогда



цвели липы. Ты помнишь, какие липы росли на Неглинке? Пятидесятилетние, большие... И там открылось маленькое кафе. Впервые в столице появилась кофейня «Эспрессо». Мне казалось, что я хороша безумно, носила кружевные воротнички и манжеты. Сама их связала. Я ведь умела и мерезжки делать, и вязать, и шить.

– Платье могла шить?

– Когда уже в Щепкинском училась, покупала себе ситец и шила прелестные платица, – на руках, а не на машинке. Стежки делала замечательные!

И вот в кружевных воротничках я ходила в кофейню.

– Мы все, студенты МГУ, там гужевались: ели чебуреки, пили дешевое кислое вино...

– Нет, этого я себе не позволяла. Я кофе пила. Я ведь тогда другого цвета была...

– Пепельная?

– Нет, волосы у меня были темнорусые. В то время не продавали никаких шампуней, и я брала травы – ромашку, мяту, зверобой, делала из них отвар, и после того, как помою голову, полоскала в нем волосы... (Много позже один из моих возлюбленных балдел от запаха моих волос). Не могу сказать, что я была очень хороша. Однажды только, когда слушала «Демона» на втором или третьем ярусе филиала Большого театра (там, где сегодня Оперетта), я шла по коридору и вдруг при сумеречном освещении увидела себя в зеркалах. В первый раз я подумала: «Боже мой! Какое интересное лицо...» Я была в те годы стройной и высокой и, к моему счастью, не согнулась, – а ведь могла согнуться.

И волосы у меня были легкие, свободные. Я их иногда в «хвост» завязывала. Но самое главное, определившее мою судьбу, было то, что пить кофе мы ходили мимо Училища им. М. С. Щепкина. И вот однажды я прочитала объявление о наборе студентов на вечернее отделение. За все время существования старейшей актерской школы один единственный раз организовали в Щепкинском вечернее отделение.

– Как ты думаешь, – зачем?

– Не знаю. Может быть, затем, чтобы найти меня? А тогда я просто ходила по Неглинной там, где сейчас выстроили отель «Хаят», и самой себе читала стихи. Я уже полюбила их читать.

– И мальчика никакого у тебя не было?

– Да, Господь с тобой!.. Нет, с любовью так и осталось все очень сложно. Я, «невинная святая», и поцеловалась-то первый раз в 23–24 года.

– Что ты декламировала?

– Все, что тогда появлялось. Не помню, был уже или не был Политехнический с его молодыми поэтами?

– Конечно, был!

– Ну, так о чем мы говорим?! В странном фильме «Застава Ильича», в документальных кадрах-вставках есть и мое лицо. Теперь, когда я стала известной актрисой, его часто показывают. Я много стихов знала. Мне нравился Евтушенко, Рождественский, Белла Ахмадулина. Я читала современные стихи, классики не знала. Первый сборничек Ахматовой украла у одного приятеля. Сказала: «Тебе это на фиг не нужно, а мне надо». Так же было у меня и с Цветаевой. В то время в СССР почти ничего из этих изданий не существовало.

Но как ни странно, для экзамена в Щепкинском училище я выбрала поэму полузабытого советского поэта 1930-х Дмитрия Кедрина.

– Давай дальше!...

Как когда-то, увидев себя в зеркалах после «Демона», я понравилась себе, так и на этот раз, перед поступлением в Щепкинское, я подумала о себе «в третьем лице», словно о посторонней: «Что-то в ней есть...». Выпила кофеечку и отправилась в училище. И первый, кого я там увидела, был Юрий Мефодьевич Соломин, мой будущий педагог и будущий художественный руководитель Малого театра. Ему было лет 26. Они с Коршуновым набирали свой первый курс.

На прослушивании сидели совсем другие люди, а Соломин туда случайно заглянул. Я прочитала Кедрина и больше меня ничего не попросили читать. Сказали, что они меня берут и чтобы я больше никуда – ни во МХАТ, ни в Вахтанговский, не ходила. А Соломин, как мне потом передали, побежал наверх и объявил: «Там такая девка! Надо ее немедленно переводить на дневное отделение». Что они сделали, как они это сделали, я не знаю, но приняли меня на дневное ...

– Но до этого надо было еще и общеобразовательные экзамены сдать...

Pro memoria



Инокья Марфа,
«Царь Борис».
Реж. В. Бейлис. 1993

Аграфена
Кондратьевна,
Самсон Силыч
Большов – В. Борцов.
«Свои люди – сочтемся!».
Реж. А. Четвёркин. 1996

Меропия Давыдовна
Мурзавецкая.
«Волки и овцы».
Реж. В. Иванов. 1994



Надежда Антоновна
Чебоксарова. «Бешеные деньги».
Реж. В. Иванов. 1998

Хлёстова.
«Горе от ума».
Реж. С. Женовач. 2000

Фелицата.
«Правда – хорошо,
а счастье лучше».
Реж. С. Женовач. 2002

Глафира Фирсовна.
«Последняя жертва».
Реж. В. Драгунов. 2004

Антоновна.
«Дети солнца».
Реж. А. Шапиро. 2007

Анна Андреевна,
Антон Антоныч
Сквозник-Дмухановский –А. Потапов.
«Ревизор».
Реж. Ю.М. Соломин.
2007





– Я окончила школу рабочей молодежи, и у меня был нормальный аттестат. Не послушавшись педагогов Щепкинского училища, пошла показываться еще и в Школу-студию МХАТ. Так все абитуриенты делают. И там мне тоже сказали: «Девушка, сдавайте документы, мы вас берем». Но мой аттестат был в Щепкинском, без него к общеобразовательным предметам не допускали. Тогда я поехала в свою школу рабочей молодежи и попросила: «Мне надо поступать, а я аттестат где-то потеряла». Они мне выдали точно такой же и очень мелко наверху написали: «Дубликат».

С ним я и явилась в Школу-студию писать сочинение, раньше, чем в Щепкинском училище. (Так по времени получилось).

– Тебя и в Школе-студии МХАТ после одного единственного прослушивания допустили к общеобразовательным экзаменам? Ни «туров», ни творческого конкурса ты не прошла? Это случается раз в десять лет...

– Ничего я не понимала, думала, что чтение стихов, всякие туры – фигня. А главное – сдать общеобразовательные. К ним-то я и готовилась. С ними и случилась «история».

Я пришла в Школу-студию, села на первую парту, подняла глаза к потолку и замерла минут на двадцать. Натэлла Александровна Тодрия, известный театровед, ученица знаменитого Алперса, мне потом рассказывала: «Я не знала, что делать. Не могла понять, почему ты сидишь и не пишешь? Думала, как же тебе помочь, вывести из столбняка? Темы-то были хорошие...» Но я и сама, наконец, очнулась и выбрала: «Романтика в произведениях Горького», о всяких там челкашах и мальвах. Получила «отлично». А через два или три дня нужно было писать сочинение в Щепкинском училище. И вот я снова вошла и села. Вижу, – та же самая Тодрия за столом приемной комиссии. Смотрит на меня, узнала... Наклоняется к соседу, председателю комиссии и что-то шепчет ему. И профессор Северин глядит исподлобья. Тоже меня вспомнил. Минуту они совещались, а у меня внизу живота заныло. Думаю: «Ну, все». Они спрашивают: «Девушка, вы писали сочинение в Школе-студии МХАТ?» Отвечаю: «Да, писала». «Ладно, – говорят, – выйдите в коридор,

а мы сейчас решим, что с вами делать». Скоро они меня позвали назад и начали стыдить: «Как же нечестно вы входите в искусство!..» Добивались, откуда у меня два аттестата зрелости? Кажется, и Виктор Иванович Коршунов при этом присутствовал. Довели меня до истерики. Я начала рыдать от стыда, что обманом «вхожу в мир театра». А они вдруг спрашивают: «Какая школа вам больше нравится? Малого театра или Станиславского?» А что я могла ответить? Я ведь и Станиславского-то не читала! Наконец, они выяснили, что настоящий аттестат у меня в Щепкинском. Говорят: «Заберите его и перенесите в Школу-студию». И тут силы небесные вмешались.

Помнишь, когда шли сильные дожди, Неглинная разливалась? Наверное, это был последний ее разлив. Стихия бушевала, сверкали молнии, ливень хлестал. Я еле-еле брела по колену в воде, пока в Проезд Художественного театра не выбралась. И там, в Школе-студии начал со мной беседовать ректор – Вениамин Захарович Радомысленский. В конце концов сошлись на том, чтобы взять на курс талантливую Ксению Минину (я на нее была чуть-чуть похожа), а мне объявили: «Ладно, идите в Щепкинское, у нас останется Минина». И такое счастье, что нас разрешили написать еще одно сочинение. Таким образом я оказалась в училище Малого театра. И еще фордыбачилась. «Нет, нет, – говорю, – меня некому кормить, я не могу поступать на дневное. Я должна себя содержать».

Первый год мне давали подработать. Я уединялась в какой-нибудь комнатенке и на машинке перепечатывала бумаги. И стипендию мне назначили – 24 рубля.

– А как дома отнеслись к твоему поступлению «в артистки»?

– А дома через некоторое время случился скандал. Мы еще продолжали жить в своих «клоповничках», их еще не сносили. Я училась, у меня уже была зачетка. В училище ходила пешком по Неглинке, а возвращалась поздно. В 9-00 отправлялась на занятия, в 12-00 приходила домой. У нас в училище была маленькая комнатка, где мы все переодевались на танец и на сцендвижение. Многие девчонки курили, а



я до сих пор терпеть не могу этого запаха. Мне тут же кажется, что все мое белье пахнет табаком. Короче, моя тетя, которая меня «обожала», сказала маме: «Вера, обрати внимание, чем твоя Милка занимается! Понюхай ее белье, посмотри, как от нее псиной пахнет!» (Тетка ревновала меня к учебе, ей было обидно, что я не стала «проституткой»).

И мать моя однажды меня подкараулила.

А наши ребята – студенты, когда занятия кончались за полночь и нужно было добираться на Трифоновку в общежитие, «скидывались по рублю» и брали машину, а меня по дороге забрасывали домой. И вот мы въезжаем в мой переулок, я хлопаю дверцей, говорю мальчишкам: «Пока, пока!». Тут мать подскакивает ко мне и на всю улицу кроет меня матом-перематом, и бл. ... у, и проституткой.

– **Что ее так потрясло?**

– Ночью меня какие-то мужики привезли на машине! По нашим понятиям, если тебя мужик привез на машине домой, то ты – проститутка.

– **Мама не знала, что ты учишься в театральном ВУЗе?**

– Я им показывала: вот зачетка моя, вот предметы, которым меня учат, вот оценки ... Ничего не помогал.

– **Мать видела тебя на сцене, гордилась твоими успехами?**

– Не то слово! Конечно! Даже бабушка успела посмотреть мой первый фильм.

– **А чем кончился тот скандал?**

– Поплакали, порыдали, очередной раз мать кричала, чтобы я из дома убиралась, как я ее ни убеждала, что вот, я учусь...

«МЕСЯЦА ЧЕРЕЗ ДВА Я ПОНЯЛА: ЭТО МОЕ, НАСТОЯЩЕЕ»...

– **С кем ты училась на курсе?**

– С Васей Бочкаревым.

– **Еще кто-нибудь «вышел в люди»?**

– Знаешь, у нас уже очень много народу умерло. Был Саша Вахтеров – наш актер, прекрасный человек, очень способный, – недавно умер. Аня Соловьева играла в Детском театре – умерла. Коля Абрашин работал в Театре Армии – умер. Сережа Еремеев служит у нас, в Малом; Маша Велехова преподает в Щепкинском училище;

Коля Гусаров – сейчас в Екатеринбурге, стал режиссером.

Я запомнила слова Виктора Ивановича Коршунова. Он был молодой, без практики, без опыта, и мы были его первым курсом. Он нам говорил: «Даже если 5 человек из вас станут хорошими актерами, – это удача...» А на самом деле, получается, что всего-то один-два пробьются.

– **Кого ты сразу отметила?**

– А я ведь с ребятами моего курса не поступала, увидела их всех на первом занятии. То ли от зажатости, то ли от необычности того, что со мной случилось, ничего особенного вспомнить не могу. Даже записи свои дурацкие перечитала, дневничек-подневник... Я, например, почти не помню своей семейной жизни. А ведь мы с Васей Бочкаревым, моим первым мужем, прожили восемь лет... Помню, что мы с ним делали отрывок из романа Мамин-Сибиряка «На золотом дне». Я играла Анисью – главную героиню.

– **У вахтанговцев в этой роли прославилась молодая Борисова.**

– У меня есть такое свойство: я что-то помню, а что-то не помню, причем сознательно. Какие-то отдельные эпизоды всплывают в памяти. Не знаю, как ты из этого выкрутишься...

– **Этого достаточно... Я же не летопись твоей жизни пишу.**

– Просто бывают периоды, которые во мне чик-чик и вырублены. Никого не хочу обижать, но у меня такое чувство, что я своих-то сокурсников и не видела. Потому что на два года раньше нас в Щепкинское училище поступили Олег Даль, Виталик Соломин, Витя Павлов, Миша Кононов, Ярик Барышев

– **Легендарный курс...**

– Как же они мне все нравились, ты себе представить не можешь! У них еще не было звездной судьбы, но что-то ее обещало. Они притягивали к себе. Я просто умирала от них.

Кто-нибудь обязательно приходил с гитарой. Они почти все умели играть на гитарах. Садилась на уроке по вокалу, там были креслица, и каждый ждал своей очереди, чтобы тянуть «До-о-Ми-и»... Как будто пришли они не из нашей жизни. В сравнении с ними мой курс казался немножко плебейским. Они были другие. Тогда на экране, на сцене и в книгах



только-только начали появляться «звездные мальчишки», «младшие братья», аксеновские «коллеги». Они их играли лучше всех, и сами были такие же.

Ты знаешь, как я называла Виталика Соломина? Маленьким принцем! И, как завороченная, на него смотрела. Этот курносый нос, ослепительная улыбка от уха до уха, высоко поднятая, запрокинутая (в небо?) голова!.. Про него в моем дневнике целые страницы написаны.

– Виталик из Читы, как и его старший брат... Откуда принцу-то взяться?

– Олег Даль был совсем юный, тонкий и гибкий. Очень теплый человек, несмотря ни на что...

– Он пил в те годы?

– Нет-нет!.. Но выпивали все. Думаешь, мы не выпивали? Они – третьекурсники – сидят на лестнице, а я, влюбленная, через три ступеньки перепрыгиваю, вверх-вниз, очень быстро туда-сюда хожу. Как будто мне от них что-то нужно было. Бегаю и беспокоюсь: заметили они меня или нет?

А дальше произошло совершенно фантастическое дело. Меня Николай Александрович Анненков пригласил в их дипломный спектакль «Макар Дубрава» по пьесе Корнейчука. У них все больше инфантильные девчужечки учились, а нужна была нормальная девка.

– Между вами два курса разницы?

– Да. Но я старше их, поступала в 21 год. То есть в том возрасте, когда училище уже заканчивают.

– И в училища уже не принимают.

– Но ко мне это не имело отношения. Никто и внимания не обратил на то, сколько мне лет. Дескать, проходите, проходите, девушка! И я тусовалась на третьем курсе, о котором говорило все Училище. На своем бывала куда реже. А потом и репетиции начались, и не нужно стало бегать мимо по ступенькам...

– Что за роль ты получила в «Макаре Дубраве» – занудной пьесе многократного лауреата, Александра Корнейчука?

– Не помню, но у меня где-то программочка есть. Вроде бы тетку одного из героев играла. Главное, это был их дипломный спектакль. Они

все в нем участвовали, и я была совершенно счастлива.

– Кто был руководителем вашего курса?

– Коршунов. А Соломин, Богатыренко и Судакова Ирина Ильинична – педагогами.

– Кем вы больше увлекались, Соломиным или Коршуновым?

– Кому-то больше нравился Виктор Иванович, кому-то – Юрочка. Молодые, красивые, веселые, они учили нас – «собой», увлекали молодостью и обаянием. Коршунов в это время играл в «Горе от ума»! Какой неожиданный, умный, опасный был его Молчалин!

И еще преподавала очень тихая старушка, жена знаменитого Владиславского, – Павла Захаровна Богатыренко. Просто гениальная. У нее с собой всегда имелась такая маленькая книжечка, похожая на словарик: русское слово – французское слово. И вот когда мы начали отрывки делать, она все подробно с нами разбирала; казалось, пустячками занималась, а на самом деле – тонкостями.

– А какой тогда был Соломин?

– Совершенно прелестный и красивый до невозможности. И доброжелательный, приветливый, простой в общении... Витя – другой. Он входил и все вокруг грохотало: «Ого-го-го!» Его всегда так много было. Размах и темперамент у него – педагога, огромные.

– Побольше чем на сцене,?

– Мы с Васей Бочкаревым недавно вспоминали свои студенческие годы. Как ни странно – со знаком минус. Потому что в первые сезоны в театре нам пришлось очень трудно. И Соломин, и Коршунов приучили нас к мысли, что мы отныне и на века – все вместе, плечом к плечу; что нас в театрах ждут с распростертыми объятиями. А этого не случилось. Жизнь разбросала, разъединила, оставила наедине с судьбой

– Похоже, что ты была любимицей Коршунова и Богатыренко?

Я не знаю, насколько я была их любимицей... С Виктором Ивановичем у меня сложились очень хорошие отношения. А Судакова, например, очень редко меня занимала. У нее свои любимые были. Соломин тоже с определенной группой ребят занимался. В основном, Павла Захаровна со мной репетировала.

Pro memoria



Арина Ивановна,
Ванюшин –
Б. Невзоров.
«Дети Ванюшина».
Реж. В. Иванов. 2012

Очень скоро они все «поделили» учеников, но лишь отчасти, не яростно, друг другу рожи не били ...

А Павла Захаровна Богатыренко взяла «Варвары» для дипломного спектакля и я получила роль Надежды Монаховой, а Вася Бочкарев – Черкуна. Здесь у нас что-то и началось.

С Васей у меня не было романа в общепринятом смысле, но у нас с самого начала возникла уверенность, что мы всегда должны быть вместе. Вася москвич, и я москвичка. И самое большое счастье, когда меня приглашали в общежитие на сабантуйчик. Я вырывалась туда, словно на «вечный праздник», из моей унылой, серой, постылой домашней жизни. И Вася всегда был при мне. У него первого на нашем курсе появился магнитофон «Весна», с катушками, со множеством переписанных пленок. Мы посмеивались: казалось, что у Бочкарева совсем нет слуха. Но он умел замечательно подражать тогдашнему общему кумиру – Луи Армстронгу. Я была при Васе, Вася при мне, и мы были желанными гостями на всех студенческих сборищах. В общежитии кроме колбасы, баклажанной икры, водки или портвейна ничего не имелось, и я просила мать что-нибудь

приготовить. Тогда утки и гуси стоили дешево. Мать в духовке тушила гуся, варила гречневую кашу, и я с припасами являлась на Трифоновку в Новый год, на Пасху, Рождество, Первое мая...

Я училась на все пятерки и со второго курса получала именную стипендию.

– **Какую?**

– Имени Хмелева.

– **Хорошая стипендия.**

– Я тоже была всегда рада, что именно Хмелева.

Шестьдесят пять рублей, по тем временам – приличная сумма, больше, чем зарплата в тресте Главгаза, где я когда-то работала. И еще нас в спектаклях Малого театра занимали, в массовках, платили по рублю пятьдесят копеек за спектакль. Десятка в месяц набегала, или даже больше – я не умею деньги считать. И мы – нахальные студентки – полюбили обедать в ресторане «Савой». Заказывали, конечно, комплексные обеды. Брели первое, иногда одно на двоих. Там славились карпы, они плавали в аквариуме. Мы обычно с Иркочкой Вавиловой ходили, моей единственной на всю жизнь подругой, но кто-нибудь к нам обязательно присоединялся. (Ира – настоящая



красавица, после окончания училища принятая в Малый театр, вышла замуж за иностранца, ученого-слависта, уехала в Чехию, теперь живет во Франции. У нее дочери уже 42 года. Мы регулярно видимся, я езжу к ней, она приезжает в Москву; нынешним летом вместе отдыхали в Бретани).

Еще мы ходили в «Узбекистан», брали манты, плов в пиалах и каждому – шашлычек по-карски. Я помню: все вместе стоило рубль пять копеек или рубль десять.

Так шла наша студенческая жизнь, от одного зачета, экзамена к другому... И очень часто мне говорили: «Прекрасно, прекрасно... Какая молодчина!» А я каждый раз думала: «Ничего не понимаю! Все было ужасно». Они меня уговаривают, мне, конечно, приятно, но я не верю.

– **Одна очень знаменитая молодая современная актриса сказала: «Если, женщина сама себе не нравится, она не может заниматься нашей профессией. Никаких сомнений! Я прекрасна!»**

– Я иногда – даже часто – нравилась себе, но комплексы мучили ужасные, большие претензии к самой себе... Да и с моей фигурой все было странно: очень широкие плечи и никакой задницы. Я жутко переживала.

Мне казалось, что я родилась не в свое время, была «нестандартная». И еще постоянно помнила, что я бедная-бедная. В училище продолжала себя одевать и «украшать». Тогда стал очень моден мохер. Из него делали пальто, шарфики. Естественно, я мохер приобрести не могла, у меня не было таких денег. Но я где-то усмотрела китайский ватин, очень занятный. Я его начесывала железной щеткой и он становился как мохер. Из ватина-мохера я сшила «на руках» юбку. Не знаю, что чувствуют манекенщицы, но я чувствовала себя, как они – необыкновенной красавицей. Могла купить три метра ситца и русские наши прошивочки, которые берут на подзорчики, и быстренько сделать себе платышко. У меня это было «на раз». Ночь–полночи посидеть, и наутро я приходила в новом.

Если ты помнишь, одно время были модными пластиковые цветные сапоги на молнии.

Именно пластиковые, но казалось, что они лаковые. Что задумала я? Пошла в магазин и купила резиновые, аккуратненькие такие сапожки, но черненькие. Они тоже сильно блстели. И у меня было полное ощущение, что я в лаковых сапогах, в мохеровой юбке (китайский ватин был серо-бежево-голубой с крапинками) неотразима. Я научилась красить чулки. Это тоже было модно. Брала обыкновенные и быстро красила во всевозможные цвета. И вот однажды я пришла на занятия, но не в сапогах, а в туфельках и в красных чулках. Виктор Иванович Коршунова посмотрел на меня с грустью и спросил: «А тебе-то это зачем?» У него была любимая фраза в мой адрес: «Глыба, но с червоточинной».

– **А червоточина что обозначала?**

– Не знаю. Но правда, зачем мне красные чулки понадобились? Однажды купила дождевик пронзительного брусничного цвета. Необыкновенный. А простого плаща у меня не было. В дождевике ходила и осенью, и весной, в сырую и сухую погоду.

Я и теперь все перешить, связать могу. Чуни, в которых дома хожу, сама связала, выдержав рисунок (подобный тем что любяют в Прибалтике), сама пришила и кожаные подошвы.

– **А какой тип женщины был тогда популярен?**

– Не знаю. Я восхищалась Симоной Сеньоре, но ведь и она была не худенькой, не хрупкой, а статной.

– **Бывало, чтобы тебя педагоги сильно ругали?**

– Никогда. Даже танцевала я лучше всех. Какая у нас была педагог по танцу Данберг – смешная до невозможности! Но они давно все умерли. У Марины Петровны Никольской, которая учила нас пению, мама преподавала вокал в Большом театре. Они обе – мать и дочь – захотели сделать из меня образцовую певицу. Я занималась с мамой. У меня получалось или очень низко, или высоко, а середины не было. Они старались «выровнять» серединочку, и тогда я «брала» чуть ли не четыре октавы. Я арию Чио-чио-сан пела. Потом жизнь заматала, и я говорю: «Марина Петровна, я же не



собираюсь быть певицей. И в Большой театр не хочу...».

– А в Малом театре ты пела?

– Нет. В Театре Станиславского пела куплеты Маленького Джона. Катя Еланская там ставила «Робин Гуда», что-то вроде мюзикла с роскошными куплетами. Володя Коренев был Робин Гуд, а я – Маленький Джон. Шутила: «Если партия прикажет – я спою». Но оказалось, что это никому не нужно.

– Тебе все давалось легко?

Кроме марксизма-ленинизма. Представляешь, помимо истории русского, зарубежного театра, иностранного языка, истории искусств, нас еще и это заставляли учить...

– Но тебе дали именную стипендию, ты должна была хорошо учиться по всем предметам...

– У меня по всем предметам были пятерки. А марксизм, то есть диамат преподавал человек по фамилии Бычков. Он был смешной и трогательный, не пропускал ни одного нашего показа, экзамена по актерскому мастерству. Видимо, знал и помнил нас всех. А я-то ни разу не открыла учебника по марксизму...

И вот приходишь к нему на экзамен, садишься, и так нежно, проникновенно глядя в глаза, затеваешь беседу на дурацкую тему, idiotские вопросы задаешь. Ни слова не говоря о том, что требовалось по билету, я «зabalтывала» педагога. А он так мудро на меня смотрел, улыбался и говорил: «Давайте зачетку». И ставил «отлично». Наверное, понимал, что марксизму меня учить нет смысла, я все равно ничего не пойму. (Так было и в школе рабочей молодежи. Они у меня никогда ничего не спрашивали, а просто ставили мне тройку или четверку. В школе я единственное, что любила, это астрономию; сама, одна ходила в планетарий. Но ее в 8 классе «ликвидировали»).

– У меня есть своя теория: то, что дается трудно, всегда плохо получается, а что легко – то прекрасно. Случалось, чтобы ты на уроки или на репетицию шла с мукой? Или только с радостью?

– Уроки я обожала. У нас был прекрасный педагог по французскому языку – Дирина. Мы устраивали целые представления на

французском. Дынник преподавала историю театра – потрясающе. Тодрия была прекрасная, мы ее обожали, и она нас особенно любила, всячески поддерживала. А мы думали: значит, в нас действительно что-то есть? Мне все приносило радость и удовольствие. Да и сейчас так!.. Уж такой я человек! Девчонка из Лаврских переулков, где парни все спились и все по тюрьмам, а девки либо проститутки, либо продащицы. (Как моя «добренькая тетка» пророчила!) Эти мещанские домики и эта особая среда... У нас, тамошних ребятишек послевоенных лет, казалось, не было выбора. И вдруг я оттуда вырвалась! Поэтому свою жизнь актрисы и жизнь вообще принимаю как подарок.

– Это судьба. Ведь и в Малом театре у тебя особых сложностей нет. Так много играешь и так хорошо... Не то девять, не то десять главных ролей...

– Я не виновата. И потом в моей жизни не всегда так было.

– У тебя есть дар театральной дипломатии. Ты в дракуне полезешь. Помнишь, ты мне однажды сказала: «Мне здесь, в Малом, так хорошо, что я ни с кем сражаться не буду...» Может быть, и правильно. Пастернак тоже говорил: или бороться, или стихи писать.

– Ты пойми! Я иначе не выжила бы. У меня никогда не было никого, кто бы защитил... Приказал бы: «А ну, вы все, разоидитесь! Оставьте ее в покое... Не смейте обижать!» Я сейчас плакать буду... Хочешь?

– Нет, не хочу. И так постепенно ты подшла к выпуску...

– У меня были две дипломные роли. Обе – главные и замечательно интересные. Третью работу мы не закончили. Но две были потрясающие. Мы оба спектакля показывали на сцене филиала Малого театра. Первый – «Дон Жуан» Алешина, где Дон Жуан был женщиной.

– Ты играла?

– Нет, Ира Вавилова... А я – Донью Лауру. Худая, в декольте, волосы жемчугами перевитые и огромный шлейф – метров пять, наверное. В костюмерных Малого театра нам подобрали костюмы. Я должна была стремительно выбегать на сцену. И вдруг чувствую: не могу вырваться из кулис, за какую-то



хреновину подолом зацепилась. Рванула изо всех сил и упала, и покатила по доскам прямо в зрительный зал. Знаешь, что мне после этого сказали?

– **Нет.**

– Оказывается, есть хорошая примета – упасть на сцене. Это значит: «Тебя ждет великая судьба!»

С таким наслаждением я играла эту роль.

А вторая роль у меня была – Надежда Монахова в «Варварах». Ты знаешь, что сказала наша любимая Тодрия? Ужасно нескромно, но я повторю. Тодрия сказала, что я играла лучше Дорониной. На фотографии ты увидишь, какая я была! Боже мой, ах!

– **Роман с собой продолжается...**

– Не веришь?

– **Нет, почему же, умная, утонченная, высококультурная Тодрия, наверное, искренне сказала.**

– Ты не веришь!

– **Доронина–Монахова была белокурая красавица, странная, манкая, сексуальная, такая, что мужики в зрительном зале поднимались с кресел...**

– Я про секс ничего не понимала, но посмотри вот эти молодые мои фотографии и поймешь, что я делала....

– **С твоей телесной мощью, славянскими чертами, голосом, как у виолончели, ты годилась на роль этой сомнамбулы из российского захолустья. Судя по фото, ты, наверное, идолицу играла или «языческую богиню». Лицо словно вырубленное и тяжеляя, «земляная» красота. Сочетание монументальности, медлительности и детского наива. И абсолютное (жестокое для людей) погружение в себя...**

– А еще я играла «Жаворонка» Ануя, – Жанну Д'Арк. Я тогда была совсем другая, чем сейчас.

– **Кстати (или не кстати) когда ты начала полнеть?**

– Я полнеть начала к 60-ти годам.

– **Почему? Ела хорошо?**

– При чем тут еда? У меня же две операции были тяжелые... Ты вспомни, какая я была, когда в «Вассе Железновой» и в «Серсо» молодых женщин играла ...

– **«Серсо» я помню и твою полубезумную Наталью в гениальной «Вассе» Анатолия Васильева помню. Видела, как ты, оставшись на сцене одна, танцевала-топотала в разношенных бесформенных тапках-туфлях, в исступлении быть похожей на нормальных, здоровых, привлекательных женщин...**

Ты была такая большая, а в «Серсо» – странно легкая, пластичная и плавная... Вплывала в полуразрушенный дом, словно в спину тебя толкали волны воздуха. Щепкой ты не была, но «В продавце дождя» у тебя была фигура, как у прибалтийских или норвежских моделей.

– Ладно, не будем спорить. Но я просто говорю, что полнота или худоба совершенно на профессию не влияют. Мои сегодняшние роли в Малом театре – женщин в возрасте или старух – Хлестову, втирушу Глафиру в «Последней жертве», няньку в «Детях солнца», Мурзавецкую или мамашу Ванюшину, я могла бы и в тощем варианте играть...

Я так рассуждаю: если нужно, пожалуйста, я могу похудеть. Но это никому не нужно.

– **Вернемся к выпуску 1962-го года...**

– Мы стали показываться во все театры, и почти все меня приглашали...

– **А в Малый почему не пошла?**

Случилась очень обидная для меня история. Взяли мою подругу Иру Вавилову, Машу Велехову – дочь известного актера, а нас с Васей поставили в «лист ожидания». Что и понятно, если вспомнить, что Малым в этот момент руководил пришедший от вахтанговцев Евгений Симонов. У него были свои девочки и мальчики из Щукинского училища, которых уже никого и в помине нет. А подругу мою, красавицу Вавилову Евгений Рубенович оставил в штате, потому что был жутко в нее влюблен.

А нас с Бочкаревым поставили в очередь. Хотя в в этот момент не было театра, в который нас бы не приглашали.

– **Гончаров позвал тебя к себе?**

– Это был самый трагический эпизод в моей жизни, который я стараюсь не вспоминать. Мы еще не закончили курса, не сдали госэкзамены... И вдруг в Училище появился Андрей



Александрович Гончаров. Белокурый статный красавец в роскошной, как у Шаляпина, шубе, а рядом жена – изящная, элегантная Вера Николаевна Жуковская, актриса Театра Сатиры, которую он слушался беспрекословно. Гончаров спросил меня и Васю – куда мы решили идти? Мы не были у него в Театре на Малой Бронной, он сам пришел. А наш курс показывался везде. В Театре Станиславского, которым тогда руководил Борис Александрович Львов-Анохин, – тоже... Я Львова совсем не знала; не знала, что его театр – один из самых интересных и успешных в Москве: чуть ли не каждый спектакль становится событием, а имя молодого режиссера помещают сразу же за Товстоноговым, Ефремовым, Эфросом. Львов тоже нас спросил – куда мы решили идти? Но поскольку перед этим был Гончаров, то я гордо, чуть ли не с вызовом, ответила: «Нас пригласил Гончаров». Он – чуть иронически – в ответ: «Ну-ну! Идите к Гончарову, Бог в помощь!..».

– В Малый театр было официальное приглашение?

– Уже потом мы с Виктором Ивановичем Коршуновым вспоминали, как все произошло. Некоторое время я жила в том же доме, что и он в Глинищевском переулке (тогда – улица Немировича-Данченко). Он прогуливался по вечерам, а я откуда-нибудь шла и на него наткалась... Останавливались, болтали о том, о сем. А у меня после грандиозного успеха «Вассы Железновой» в Театре Станиславского и «Серсо», после триумфальных европейских гастролей, было очень плохо с Анатолием Александровичем Васильевым. Он с нами больше работать не хотел, и не я одна, а многие из участников этих, теперь уже легендарных, спектаклей решили уходить. Я Коршунову всячески намекала, что очень бы хотела вернуться в Малый. Потому что от Васильева я уходила в никуда. И в какую-то очередную встречу я со слезами призналась Виктору Ивановичу, что, наверно, ошиблась, нужно было оставаться в Малом театре, хоть и с «листом ожидания» на руках. Он мне в ответ: «Ну, милая, нужно было раньше думать, у нас теперь уже есть актриса твоего плана». Я видела и знала, что такое эта актриса. При всем моем самоуничижении,

после «Вассы» и «Серсо», когда и Москва, и вся Европа на нас рвалась, и рецензии великолепные были десятками написаны, я даже обиделась, что он нас рядом поставил.

– Я не понимаю, чем ты была виновата? Тебя же не взяли в Малый театр, поставили на очередь?

– Нет, я должна была дожидаться. Приглашение в Малый, хоть и условное, – великая честь! Так они считали и считают. Но думаю, что судьба распорядилась правильно, допустила этот «зигзаг» – сначала, на очень короткий срок, в Театр на Малой Бронной (я об этом даже в анкетах не упоминаю); потом – в Театр Станиславского, где будут – Львов, Варпаховский и Анатолий Васильев... А тогда, если бы даже меня взяли в Малый на какой-нибудь договор, то на эпизодики или в массовку. Труппа была огромная, как и сейчас, и многие из выдающихся «старух» еще работали в полную силу. А тут мне Гончаров сразу пообещал «Луну для пасынков судьбы». Правда, спектакль так и не поставил. Поставил «Судьбу – индейку» одиозного Анатолия Софронова (колхозная пьеса с символическим для меня названием), где я играла подругу героини, а Вася Бочкарев – не то тракториста, не то комбайнера. Но все равно, судьба правильно решила.

(Продолжение следует)

**Фото из личного архива Л.П. Поляковой
и Н. Антипова**